

Д  
Русский

БЕРЛИН

УДК008 (091)

ББК70

P88

*Составление, предисловие и персоналии  
В.В. Сорокиной*

**Русский Берлин** / Составление, предисловие и персона-  
лии В.В. Сорокиной. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. —  
368 с.: 64 ил.

ISBN 5-211-04077-5

Книга вводит читателя в круг важнейших тем культуры русской эмиграции в Берлине, знакомит с основными проблемами, волновавшими русских за рубежом. В ней представлены фрагменты воспоминаний (многие из них в нашей стране ранее не публиковались) о жизни в Берлине в первой половине 20-х гг. русских беженцев и советских подданных; свидетельства современников и биографов о русских издательствах, научной и педагогической деятельности, театральной жизни, деятельности русских писателей — А. Белого, А. Ремизова, Б. Пастернака, М. Цветаевой, А. Толстого, М. Горького, С. Есенина и других, газетные статьи, объявления, заметки, дающие представление об атмосфере, в которой находились русские в Берлине той поры.

Для изучающих культурное наследие русского зарубежья, а также для широкого круга читателей.

**УДК 008(091)  
ББК 70**

ISBN 5-211-04077-5

© Сорокина В.В., составление,  
предисловие, персоналии, 2003 г.

## ИСТОРИЯ ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Встреча с А.М. Ремизовым была для меня знаменательной — она многое проявила во мне самом и помогла мне, так же, как встречи с Андреем Белым, Маяковским, Пастернаком, выйти из литературного захолустья, в котором я еще находился.

Алексей Михайлович считал своим литературным крестным Леонидом Андреевым: по рекомендации отца была напечатана его первая вещь — «Плач девушки перед замужеством». Это причитание вошло впоследствии в его первую книгу «Посолонь». «Посолонь» я знал с детства, помнил ремизовские апокрифы и сказки. Однажды на Черной речке за обеденным столом — в тот день у нас было много приезжего народу, — я не помню, кто из гостей сказал, что Ремизова трудно читать, что он «писатель для писателей». Эта ходячая формула мне почему-то запомнилась, и я в нее поверил. Кроме того, еще задолго до революции вокруг имени Ремизова начала создаваться легенда, затемнявшая его значение в русской литературе как очень своеобразного писателя. Когда произносили его имя, у меня в памяти возникала фотография, помещенная в каком-то иллюстрированном журнале: большой лоб, очки, всклокоченные волосы; воспроизведенные в том же журнале его рукописи — славянская вязь, каллиграфия — не рукопись, а рисунок, весь переплетенный завитками и росчерками. В статье, сопровождавшей портрет, подробно рассказывалось о чертиках, которых он клеил из разноцветной бумаги, о рыбьих костях, привешенных к потолку на нитках, о бархатных пауках и еще о какой-то непонятной фантазмагории, его окружавшей. Рассказывалось об учрежденном им «ордене» Обезвелволпале (Обезьянья великая и вольная палата), в который посвящались чудачки, то есть люди, захваченные какой-нибудь бескорыстной страстью. Все это создавало впечатление несерьезной игры.

Впоследствии, в Париже, когда я сам поднялся по иерархической лестнице Обезвелволпала от кавалера до гундустанского посла и даже под конец стал обезвелволпальим маршалом, я понял, что все чудачества, так раздражавшие иных его читателей, действительно часть самого Ремизова, но только та внешняя часть его, которой он соприкасается с окружающим его миром, некий панцирь, прикрывавший его от злой жизни. Легко ранимый, всегда настороженный, с постоянной боязнью, что кто-нибудь, все равно кто — редактор журнала или случайный прохожий, — может причинить ему боль, он защищался от них шуткой, талантливой игрой в беспомощность, в жука, притворяющегося мертвым, когда чьи-нибудь грубые руки поднимают его с земли.

В Берлине, когда в 1922 году возникло сменовеховское движение и началась классификация на просоветских и антисоветских, А.М. Ремизов оказался стоящим в стороне: своим его не признавали ни те ни другие. Он никогда не был человеком последовательной политической мысли и никогда не принадлежал к литературно-политическим группировкам, которые возглавлялись Гиппиус и Мережковским, журналом «Современные записки», газетами «Последние новости» и «Возрождение». В книгах, изданных в Берлине, а затем в Париже, он «величал» уходящую Россию, но «величал», конечно, не царскую (в молодости Ремизов за принадлежность к социал-демократической партии был сослан в Вологду), а то в России, что, по его мнению, было прекрасным — русского человека, открытого, как ни один другой человек, чувствую сострадания, сознающего не только свою, но еще больше — чужую боль.

Парадоксальность литературного творчества Ремизова за границей заключалась в том, что он был «самым русским» из всех писателей, оказавшихся за рубежом. Русским насквозь — и в том, как он писал, и в том, каким он был сам в повседневной жизни. Его нельзя было отделить от России, как нельзя отделить летописцев от русской монастырской жизни, как нельзя пересадить русскую частушку на чужую землю. Вся его жизнь за границей была недоразумением. Неприспособленность к окружающей обстановке, неумение бороться за существование становились еще очевиднее за рубежом. Ремизов, трагически не понявший Октябрьскую революцию, покинул Россию.

В Ремизове было глубоко заложено сознание своей литературной миссии — писателя, открывшего некую тайну русского языка, необходимость посвятить в эту тайну читателей, и сознание того, что он — свидетель великих событий, о которых необходимо рассказать так, как он один может это сделать. Сознание исключительности в Ремизове было велико, но оно никогда не вело его к желанию руководить или поучать, а тем более возглавлять какое бы то ни было политическое течение. При всей своей настойчивости в писательской работе, при всем убеждении в правильности избранного им литературного пути он был скромнен, а иногда по-своему даже застенчив.

В Берлине Ремизов был одинок. Впоследствии, в Париже, куда он переехал в конце 1923 года, его одиночество стало еще очевиднее. У него были друзья, высоко ценившие его книги, — Прокофьев, Рахманинов, Стравинский, несколько молодых, начинающих писателей, но он стоял в стороне от того, что принято называть зарубежной русской литературой. Гиппиус и Мережковский, открыто занимавшие антисоветскую позицию, обрушились на Ремизова с обвинением в большевизме. Для Бунина Ремизов был неприятелю: он был представителем чуждой ему литературной школы.

Эмигрантский читатель, не веривший больше в легенду о «народе-богоносце» и «народе-страстотерпце», разочаровавшийся в «святых заветах» русской литературы XIX века, с удовольствием читавший скептические романы М.А. Алданова, тянулся к занимательному чтению. Поиски Ремизова были для него непонятны, в лучшем случае они казались ему чудачеством. Эмигрантская критика не давала себе труда разобраться в ремизовском творчестве. Г.В. Адамович, пишущи о Ремизове, говорил о необыкновенном его языке и прибавлял: в данном случае рассказывать о прекрасном языке писателя — все равно что описывать чудесные волосы некрасивой женщины — кроме волос, ничего не отметишь.

То, что Ремизов в 1946 году просил и получил советский паспорт, было совершенно естественным: за границей Ремизов не мог и не должен был жить. Несчастье было в том, что паспорт был получен, когда он был уже стар и болен, после смерти жены еще более беспомощен, чем когда бы то ни было. К концу жизни — он умер в 1957 году — Ремизов почти ослеп.

Особенности ремизовской прозы выросли из самых глубин русского языка.

«Трафарет всегда бесплоден, а жаргонист всегда фальшив. Природный лад живой речи неизменен, а народная речь непостоянна, и словарь народных слов меняется в зависимости от слуха и памяти, память же выбирает не характерное, а доступное для подражания» («Огонь вещей». Париж, 1954).

Однако «поиски природного лада живой речи», возврат к языку XVII века, еще не засоренному западным словесным нашествием, непривычность для современного уха ремизовской прозы воздвигали между стилистом и читателем стену. От Ремизова с самого начала его заграничной жизни отворачивались, его не понимали. Для большинства издававшихся в Берлине или Париже журналов и газет он был грузом, от которого не знали, как избавиться. Вообще заниматься поисками нелегко, а на чужой земле, то есть в мире, где говорят на другом языке, где неизбежно портится речь, где самые избитые языковые штампы и трафареты начинают казаться чем-то новым, — дело почти безнадежное. Нужен был талант Ремизова для того, чтобы не только сохранить, но и усовершенствовать свой стиль, создать такие вещи, как «В розовом блеске», «Подстриженными глазами», «Огонь вещей», «Мышкина дудочка», «В сырых туманах».

Формула «писатель для писателей», в сущности, никогда не бывает исчерпывающей. Она применялась к Хлебникову, даже к Пастернаку, но в том и другом случае эти слова указывают лишь на степень влияния поэта на своих современников, на те случаи, когда формальное новаторство не проходит бесследно. Конечно, Ремизов оказал большое влияние на целый ряд писателей — свидетель-

ства А.Н. Толстого, Пришвина, Пильняка. Творчество Ремизова идет от Гоголя, Достоевского, Лескова. Писатель страстный и пронзительный, он считал, что сцена приезда матери к сыну в «Подростке» по ощущению человеческой неоправданной боли не превзойдена в русской литературе. Книги Ремизова посвящены жалости к человеку, сочувствию к человеческому достоинству, попираемому страшной силой зла. Его творчество — отчаянная попытка помочь маленькому и ничем не замечательному человеку.

В Берлине А.М. Ремизова я в первый раз увидел и услышал в ателье художника Н. Зарецкого, где изредка устраивались литературные вечера. Здесь бывали Архипенко, Ларионов, Богуславская, Пуни, Минчин, Терешкевич, Шаршун, который писал не только дадаистические рассказы, но и картины. В тот вечер Алексей Михайлович читал отрывки из «Взвихренной Руси» — книги, над которой он тогда работал. Конечно, по двум-трем отрывкам я не мог судить обо всей книге, но то, что я услышал, произвело на меня огромное впечатление: живой и громкий голос человека — искреннего свидетеля огромных событий. Впоследствии я нашел во «Взвихренной Руси» отрывок, прямо отвечающий на те мысли, которые меня тогда волновали: он называется «К звездам» — памяти А.А. Блока:

«А знаете, это я теперь тут узнал, за границей, что для русского писателя тут, пожалуй, еще тяжче, и писать не то что невозможно — ведь только в России совершается что-то, а тут — для русского-то — “пустыня”...»

Поразил меня весь тон и ритм ремизовской прозы. Когда Ремизов читал — впоследствии, в Париже, устраивались ежегодные чтения, причем Алексей Михайлович читал не только свои произведения, а отрывки из Гоголя, Лескова, Достоевского, Толстого, — читаемая им вещь, даже если она была знакома со школьной скамьи, становилась неузнаваемой. Ремизов преображал ее, находя неожиданный, до сих пор никем не уловленный ритм; его голос делал видимым каждое произносимое им слово. Это было меньше всего театральным чтением, он не вбивал в голову слушателя смысл фразы, но, уловив ее внутреннюю музыку, околдовывал своим сильным голосом, столь неожиданным в этом маленьком человеке, переполненный зал гостиницы «Лютеция», даже тех, кто, может быть, в первый раз в жизни слышал пушкинскую «Сказку о рыбаке и рыбке».

Весь собранный, сгорбленный, с топорщащимся ежиком сидящих волос, защищенный от мира выпуклыми стеклами очков (только вот над очками взлетевшие восклицательными знаками черные брови — то ли угроза, то ли зов погибающего?), Ремизов, читая, вдруг превращался сам в гоголевского Вяя или в толстовского стар-

ца, повторяющего свою упрощенную молитву: «Трое вас, трое нас, помилуй нас».

В тот вечер в ателье Зарецкого я увидел Блока, услышал голос Достоевского — настолько была велика сила ремизовского чтения.

Когда Ремизов отложил в сторону рукопись и в ателье начался шум общего разговора — помнится, никто не выступал с разбором прочитанного, — я подошел к нему, чтобы лучше его рассмотреть. При моем приближении он снял очки, причем снял их как-то особенно, вцепившись крепкими, мужицкими пальцами в черепаховые дужки — только бы не потерять! — и превратился в русского лешего, заблудившегося в Берлине. Я вспомнил, что Блок посвятил «Болотных чертеняток» Алексею Михайловичу:

Вот — сидим с тобой на мху  
Посреди болот,  
Третий — месяц наверху —  
Искривил свой рот.

Я, как ты, дитя дубрав,  
Лик мой так же стерт.  
Тише вод и ниже трав —  
Захудалый черт.

На дурацком колпаке  
Бубенец разлук.  
За плечами — вдалеке —  
Сеть речных излук...

И сидим мы, дурачки,  
Нежить, немочь вод.  
Зеленеют колпачки  
Задом наперед...

С первого взгляда в Ремизове поражала его необычайная рускость, его нерушимая связь со своей землей, с Андроньевым монастырем в Москве (так говорил сам Алексей Михайлович, не Андрониковым, как говорят теперь), у стен которого прошло все его детство, с самой сутью русской старины, полной суеверий, нежити и странного сплетения языческих и христианских легенд. Ремизов был именно тем, о чем говорит Шекспир в «Макбете» и что Блок взял эпиграфом к «Пузырям земли»:

Земля, как и вода, содержит газы,  
И это были пузыри земли.

Повторяю: жизнь такого человека за границей не могла не быть сплошным недоразумением.

О трудной жизни Алексея Михайловича, о его непрерывной борьбе за право писать так, как ему представлялось необходимым, о том, как он издавал свои книги, ставшие теперь библиографической редкостью, а при его жизни камнем лежавшие на складах,

о Серафиме Павловне, его жене, сыгравшей столь большую роль в его жизни, о том, что он написал о самом себе: «Я знаю, жалостью моей ничего не поправишь и никому от нее не станет легче, я знаю, знаю — и не могу примириться, мне всегда как-то стыдно, как это можно добровольно от всего отказаться и добровольно себе приют найти на свалке, а последний приют под забором...» — обо всем этом позже, когда я расскажу о десятилетиях, прожитых мною в одном с Ремизовым городе — Париже. Теперь приведу лишь один коротенький рассказ о том, как Алексей Михайлович и Пришвин спорили о названии ремизовской повести «Неуемный бубен». Дело происходило в Москве в 1909, кажется, году, в трамвае. Пришвин решительно не соглашался с названием:

— Ничего это не значит. Неуемный дождь, как у Горького, — это верно, а неуемный бубен...

Алексей Михайлович защищался, но убедить Пришвина не мог, и Михаил Михайлович повернулся к соседу — то ли купцу третьей гильдии, то ли приказчику из тех, кто ведет дела за ушедшего на покой хозяина:

— Вы можете сказать, что такое неуемный бубен?

Сосед посмотрел насмешливо и громко, на весь трамвайный вагон сказал:

— Ты и есть неуемный бубен.

Однако, хотя, казалось бы, Ремизов получил неожиданную поддержку, он все же переименовал название, и «Неуемный бубен» стал «Повестью о Стратилатове».

Через двадцать пять лет после нашей первой встречи в 1947 году, А.М. Ремизов написал на экземпляре «Взвихренной Руси»:

«Оле и Вадиму Андреевым

Эту книгу я писал, как отходную — исповедь мою перед Россией: передо мною была легенда о России — образ старой Руси и живая жизнь советской России.

Со старым я попрощался, величая, а с новым — я жил, живу и буду жить.

И еще в этой книге революция...

*Алексей Ремизов  
4.VIII.1947»*

Надпись на книге исполнена полууставом, с росчерками и сложно нарисованными заглавными буквами. В подписи, которую трудно разобрать, он не выдержал и пошутил: не Ремизов, а Ремъзов — через «ять» (Ремизов производил свою фамилию от птицы ремез).

*(Андреев В. История одного путешествия. М., 1974. С. 290—303)*